

ПЁТР БОЛЬШАКОВ



ДЕЛО О ВСЕХ МЕРЗАВЦАХ

ЦИКЛ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ КЛАССИКИ

Пётр Большаков

Дело о всех мерзавцах

<https://litres.ru/74393952>

SelfPub; 2026

Аннотация

Однажды утром Виктор Корякин пролил чай на крендель — и этим жестом перевернул империю.

1860 год. Бедный мещанин с дырявым сапогом врывается в адвокатскую контору и кричит: «Я хочу подать в суд на всех мерзавцев!» Пять адвокатов смотрят на него как на сумасшедшего. Один — юный, с ромашкой в петлице — берётся защищать его бесплатно. Через неделю на здании суда появляется вывеска с ошибкой: «Городской сут». И процесс века докатится до Петербурга.

Но это не история о победе добра над злом. Это история о человеке, который решил, что главный мерзавец — он сам. И о том, что самая страшная война — не с графами и князьями, а с собственной трусостью.

Роман, от которого пахнет берёзовыми дровами, самоваром и размокшим кренделем. От которого хочется то смеяться, то плакать, то бежать в суд.

P.S. «Цикл современной русской классики» — это жанровый навигатор, указывающий на литературные традиции, а не претензию на место рядом с великими предшественниками.

Пётр Большаков

Дело о всех мерзавцах

ДЕЛО О ВСЕХ МЕРЗАВЦАХ

Автор Пётр Большаков

ПРОЛОГ

Декабрь 1851 года. Уездный город N-ской губернии.

Зимний вечер опустился на почтовую станцию внезапно, как занавес в балагане — рывком, без предупреждения. Ещё в четыре часа было серо, но терпимо, а к пяти небо сомкнулось над землёй, и снег повалил стеной, забивая колею, заметая крыльцо, налипая на оконные стёкла мокрыми хлопьями.

Виктор Иванович Корякин стоял у окна и смотрел, как белое месиво затягивает следы последней подводы. Та ушла к обеду, и теперь до утра ни одна живая душа не сунется на большую дорогу — разве что волки, да и те умнее, сидят по оврагам.

За его спиной потрескивала печь. Чугунная, пузатая, вы-

ложенная изразцами с синими цветами — местами выщербленными, но ещё тёплыми на ощупь. От неё шёл тот особенный, сухой жар, который бывает только в деревенских домах, где печь топили с утра и не давали остыть до самого вечера. Пахло берёзовыми дровами, чуть-чуть угаром, и ещё — выпечкой, потому что Анна только что поставила в припечек новый противень с кренделями.

На столе дымился самовар. Медный, тульский, с шишками на крышке — подарок отца Анны к свадьбе. За десять лет он успел потускнеть, покрыться зеленоватым налётом в местах, где руки касались чаще, но воду грел исправно и сейчас тихо посапывал, выпуская из носика струйку пара, которая поднималась к потолку и таяла в темноте.

В углу, свернувшись калачиком на старом тулупе, спал шестилетний Серёжа — их с Анной единственный сын. Тулуп был отцовский, заячий, с вытертым до лысины воротником, но мальчик любил его больше перины: пахло от него дорогой, лесом и чем-то далёким, что Серёжа называл «папиным запахом». Сейчас он лежал на боку, подложив ладошку под щёку, и часто-часто дышал во сне. Ресницы его, светлые, как у матери, вздрагивали — должно быть, снилось что-то хорошее, потому что губы чуть улыбались.

Виктор Иванович отошёл от окна, бесшумно, чтобы не

разбудить, и присел на край лавки. Сапоги его, смазанные дёгтем и аккуратно поставленные у печи, сушились; он был в шерстяных носках, и пол был холодным, но он не замечал холода — привык. Десять лет на станции, десять зим, когда встаёшь затемно и идёшь проверять, не замёрзла ли сбруя, не потрескалась ли кожа на оглоблях, не заиндевели ли подковы.

Станция была маленькой, всего на четыре лошади — две гнедые, одна серая в яблоках и старый мерин, которого давно пора было менять, но денег не было. Корякин содержал её в образцовом порядке, потому что другого у него не было. Сбруя блестела — он сам чистил её по вечерам, когда заканчивалась дневная суeta. Подводы не задерживались — он научил ямщиков менять лошадей за пять минут, не больше. Писарь Степаныч, хоть и любил выпить, свою работу знал твёрдо — бумаги не терял, учёт вёл аккуратно, и если его и можно было в чём-то упрекнуть, так только в том, что после обеда от него пахло сивухой, но к вечеру выветривалось.

Губернское начальство наезжало редко — раз в год, если повезёт. Но когда наезжало, всегда хвалило. «У вас порядок, Корякин, — говорили. — На других станциях грязь по колено, а у вас — хоть в мундире спи». И Корякин кивал, кланялся, благодарил. И думал про себя: «Хорошо бы вы мне жалованье прибавили, а не слова». Но не говорил. Молчал.

Привык.

— Всё хорошо, Витя?

Голос Анны был тихим, чуть хрипловатым — от простуды, которая держалась уже третью неделю и не проходила. Она вошла с кувшином молока в руках, и свет от самовара упал на её лицо — некрасивое, с крупным носом и тонкими губами, но доброе, усталое, родное. Она была на десять лет моложе его, но выглядела старше — жизнь в деревне, роды, бессонные ночи, когда Серёжа болел, и вечная, глухая забота о том, как свести концы с концами.

Анна была женщиной некрасивой, но тихой и доброй. Корякин любил её той спокойной, привычной любовью, которая не требует слов — она была как воздух, как вода в колодце, как тепло от печи. Они прожили вместе десять лет, и за эти годы она ни разу не упрекнула его в бедности. Никогда не сказала: «Витя, а почему у нас нет нового платья?» или «Витя, а когда мы купим корову?». Она просто жила рядом, варила щи, пекла крендели по воскресеньям, укладывала Серёжу спать и молилась по вечерам перед иконой Николая Угодника, которую привезла из родительского дома.

Она поставила кувшин на стол, села напротив и положила руки перед собой — сухие, красные, с обломанными ногтя-

ми. И посмотрела на мужа тем долгим, испытующим взглядом, который умеют только жёны, прожившие с мужчиной больше пяти лет.

— Что-то случилось? — спросила она. — Ты с утра хмурый.

Виктор Иванович отвёл глаза.

— Хорошо, — ответил он, хотя знал, что она не поверит. — Всё хорошо. Просто... Сегодня из города пришла почта. Писем нет, но есть слухи.

— Какие?

Он помолчал. Сказать — или не сказать? Анна не любила тревог. Она боялась перемен, как дети боятся темноты. Но он знал: если не скажет сейчас, она сама узнает завтра — от Степаныча или от проезжего купца. И тогда будет хуже.

— Говорят, в губернии новый советник, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Молодой, из Петербурга. Фамилия — Белозерский. Хотят ревизию провести. Говорят, будут проверять все станции. Нашу — тоже.

Анна помолчала. Пальцы её, лежавшие на столе, чуть

дрогнули.

— Ты боишься?

Корякин усмехнулся — коротко, без веселья. Усмешка вышла горькой.

— Чего мне бояться? У меня всё чисто. Я не ворую, не пью, не сплю на работе. Степаныч пьёт, но я ему не даю разгуляться. Подводы на месте. Лошади сыты. Пусть приезжают.

— Тогда почему ты хмурый?

Он не ответил. Потому что сам не знал. Или знал, но боялся признаться себе.

Десять лет он жил на этой станции. Десять лет он вставал затемно, кормил лошадей, чинил сбрую, спорил с ямщиками, писал отчёты, которые никто не читал. Десять лет он был маленьким человеком в маленьком углу, и это было его место. И вдруг приезжает какой-то советник из Петербурга, которого он никогда не видел, и переворачивает всё. Или нет. Или всё останется по-прежнему. И это ожидание — когда ты висишь между «будет» и «не будет», когда от тебя ничего не зависит, когда вся твоя жизнь в руках человека, который

даже не знает твоего имени, — это ожидание и было самым страшным.

Он подошёл к столу и налил себе чаю из самовара. Коричневая, почти чёрная заварка, потому что экономили, и заваривали один раз, а потом доливали кипяток. Чай пах травами — Анна добавляла сушёную мяту, чтобы сбить горечь. На блюде лежал крендель — свежий, посыпанный сахаром, с хрустящей корочкой, ещё тёплый. Анна пекла их по воскресеньям, и это стало их маленькой традицией. Он откусил, и сахар захрустел на зубах, и на мгновение всё стало хорошо — тёплый чай, тёплый хлеб, тишина, сын спит, жена рядом.

За окном завыл ветер — протяжно, жалобно, как брошенная собака. Снег забарабанил в стёкла. Серёжа во сне заворочался, протяжно вздохнул и сказал что-то неразборчивое. Анна встала, бесшумно подошла к нему, поправила одеяло — тулуп сполз на пол, она подняла его, укрыла мальчика, погладила по голове. Серёжа затих, и снова стало слышно только завывание ветра и тихое посапывание самовара.

А Корякин смотрел в окно и вдруг, сам не зная отчего, подумал: «А что, если всё это вдруг кончится? Вот так, в один день?»

Мысль была липкой, противной, как паутина на лице. Он

попытался отогнать её, но она не уходила. Она росла, разрасталась, заполняла голову, и он вдруг ясно, до боли отчётливо увидел себя — стоящего на дороге с узлом в руках, без станции, без дома, без лошадей, без всего, что составляло его жизнь. Анна плачет. Серёжа не понимает, что происходит, и тянет к нему руки. А он уходит. Уходит, потому что некуда идти, кроме как в никуда.

Он отогнал эту мысль, как назойливую муху. Потом взял крендель и откусил ещё кусок. Сахар обжёг язык, чай обжёг губы, и стало легче.

— Ложись, Витя, — сказала Анна из угла. — Завтра рано вставать. Приказ пришлют, наверное, к утру.

— Приказ, — повторил он и усмехнулся. — Наверное.

Он не знал, что этот приказ уже лежит в портфеле курьера, который заночевал в соседнем уезде — заночевал, потому что не рискнул ехать в такую метель. Что завтра на рассвете он выедет, и через сутки в его канцелярию войдёт рослый чиновник с бакенбардами, назовётся ревизором, пересмотрит бумаги, найдёт формальную ошибку в отчёте трёхлетней давности — отчёт, который Корякин сам же и подписал, не глядя, потому что Степаныч заверил, что всё в порядке. И что эту ошибку назовут «подлогом». Что его отстранят в тот

же день. Что через год Анна умрёт от чахотки — доктора говорили, что лёгкие, но Корякин знал: её убил стыд. Стыд за то, что она не смогла защитить семью. Что сын вырастет чужим человеком, что он сам станет бродягой, что потеряет всё — и обретёт лишь много лет спустя, в другом городе, в другой жизни, когда закричит в суде на пятёрку адвокатов: «Я хочу подать на них в суд! На всех!»

Он не знал ничего.

И потому, глядя на белую метель в тот декабрьский вечер, он чувствовал себя счастливым.

Впервые и в последний раз в своей жизни.

ГЛАВА 1. Утро, которое всё изменило

Утро 20 июня 1860 года выдалось неудачным. Впрочем, как и все прочие дни за последние девять лет — с того самого декабря, когда курьер привёз приказ, и жизнь раскололась надвое: до и после.

Виктор Иванович Корякин проснулся затемно. В комнате было тепло — хозяйка Марфа Ильинична с вечера натопила

печь, а выстудить забыла. Жар стоял густой, тяжёлый, как в бане, и от него кружилась голова. Он лежал с минуту, глядя в потолок с облезлыми обоями — когда-то они были зелёными, с мелкими цветочками, а теперь превратились в грязно-жёлтое пятно, которое по ночам казалось лицом. Он смотрел на это лицо каждое утро уже третий год, с тех пор как снял комнату у Марфы Ильиничны. Лицо не менялось. Оно просто висело там, молчаливое, равнодушное, как и всё в его жизни.

Потом он сел, пошарил ногой по полу в поисках сапога, и вспомнил: левый — дырявый. Подошва отходила у самого носка, и ещё вчера он засунул туда газету, чтобы не промокало, но сегодня газета уже наверняка превратилась в мокрый комок.

— Чёрт бы побрал, — сказал он негромко.

Голос прозвучал хрипло, незнакомо — он вообще редко говорил вслух, когда был один. С кем говорить? Стены молчат, Марфа Ильинична, если и заходит, то только по делу, а с самим собой говорить — первый признак сумасшествия. Он знал это. И всё равно иногда говорил. Потому что молчать было тяжелее.

Он встал, надел правый сапог — тот был целый, потому

что он берёт его для выходов в люди. Левый взял в руку и пошлёпал на кухню. Пол был холодным, шерстяные носки, которые он сам себе штопал по вечерам, скользили по половицам. В коридоре пахло кислой капустой — Марфа Ильинична засолила новый бочонок и поставила в сених. Запах был резким, уксусным, и от него сразу же заболели зубы.

Кухня встретила его привычным беспорядком. Стол был покрыт клеёнкой — когда-то красной, с узором из роз, а теперь почти чёрной, с дырами от горячих сковородок. На столе стоял чайник, тот самый, медный, с отбитой ручкой — отцовский, который он забрал со станции, когда его выгнали. Ручка держалась на проволоке, и если наливать кипяток, надо было придерживать её тряпкой, чтобы не обжечься. Рядом лежал вчерашний крендель — Анна пекла такие по воскресеньям. Анны уже не было. Было только воспоминание о том, как она ставила противень в печь, как пахло дрожжами и сахаром, как она вытирала руки о фартук, и на лице её была та особенная, тихая улыбка, которую он больше никогда не увидит.

Он поставил сапог на лавку — лавка была скрипучей, колыхалась под весом, и когда он садился, всегда казалось, что она вот-вот рассыплется. Налил кипятку в кружку. Кружка была треснутая, с отбитым краем — он бережно зажимал трещину пальцем, чтобы вода не вытекала. Опустил заварку.

Чай был дешёвый, почти без запаха, но если добавить мяту — ту самую, сушёную, что осталась ещё с той жизни, — то пить можно было. Он добавил мяту. Воды было мало, и заварка набухла, превратилась в бурую кашу.

Потом потянулся за кренделем — и рука дрогнула. Он не знал, почему дрогнула. Просто пальцы вдруг перестали слушаться, и кружка, которую он держал во второй руке, качнулась, наклонилась, и горячий чай хлынул через край, прямо на клеёнку.

Буро-золотистая лужица растеклась по столу, вмиг промочив крендель. Тот, бывший ещё секунду назад румяным и хрустящим, стал набухать, размокать, превращаться в жалкое подобие самого себя — бесформенную сдобную тряпочку. Чай впитался в мякиш, сахар растворился, и крендель, который он так хотел съесть, лежал теперь мокрый, липкий, никуда не годный.

Виктор Иванович смотрел на это безобразие и не верил своим глазам.

Он вытер лужу тряпкой. Тряпка была старой, изрезанной на полосы, пахла уксусом и чесноком — Марфа Ильинична мыла ею полы. Он вытер стол, вытер руки, вытер кружку. Потом взял размокший крендель, посмотрел на него, как

смотрят на умершего родственника, и выбросил в помойное ведро.

Крендель упал в ведро с глухим, влажным звуком. И вместе с ним упало что-то ещё — надежда, что сегодня будет лучше, чем вчера. Или хотя бы не хуже.

Настроение, и без того неважное, упало до нуля. Ниже нуля. До той отметки, где уже не различаешь, есть ли смысл вставать по утрам.

Он сел на лавку, оперся локтями о стол и закрыл лицо руками. Пальцы пахли чаем, мятой и ещё чем-то горьким — возможно, собственной усталостью. Он сидел так долго, минуту, две, пять. Где-то на улице крикнул петух, залаяла собака, загремела телега — город просыпался, жил своей жизнью, которой у него, Корякина, больше не было.

Он открыл глаза и посмотрел в окно. За стеклом, мутным от копоти, было серое утро. Небо набрякло свинцом, но дождя не было — только давило, давило на плечи, на голову, на грудь, как будто кто-то положил сверху тяжесть, и дышать стало трудно.

Долговые расписки, дырявый сапог, потёртый пиджак — всё это висело над ним, как дамоклов меч. Долгов было три:

двенадцать рублей лавочнику, пять — сапожнику, и ещё восемь — за квартиру. Марфа Ильинична, правда, не торопилась, но в глазах у неё уже появлялось то выражение, которое он хорошо знал. Выражение, которое говорило: «Хороший человек, но сколько можно?». Он видел такое же у Анны за год до её смерти. Тогда он ещё надеялся, что всё наладится. Теперь не надеялся.

В последнее время он обошёл множество мест. Ходил к купцам, к приказчикам, к управляющим, в канцелярии, в конторы. Носил с собой рекомендательное письмо от бывшего начальника станции — тот, новый, который занял его место, сжалился и написал, что Корякин «честный и трудолюбивый», но никто не смотрел на письмо. Все смотрели на его пиджак. Или на его сапоги. Или на его глаза — такие глаза у людей, которые слишком долго ищут работу.

Обещали, правда, почти везде. «Приходите в следующем месяце, — говорили. — Или через два. Или к весне. Или когда дела пойдут лучше». Но проходил месяц, другой, третий, и всё повторялось: те же безразличные лица, те же пустые обещания. Как будто он стоял перед стеной и говорил со стеной. И стена была вежливой, но глухой.

Он оделся.

Пиджак он выгладил с вечера — сам, утюгом на углях, обжигая пальцы, но старательно. Сукно было старым, местами лоснилось на локтях и плечах, истончилось до того, что на просвет можно было видеть нитки. Но воротник был чист, пуговицы пришиты на совесть, и если не смотреть слишком пристально, можно было даже принять его за приличного человека. Главное — не поворачиваться спиной, потому что на спине было пятно от старого чернильного пятна, которое ничем не выводилось.

Правый сапог он надел. Левый — с газетой внутри — натянул с трудом. Газета шуршала, хлюпала, и когда он ступал, нога чувствовала сырость. Но это было лучше, чем босиком. Босиком ходят нищие. А он пока ещё не нищий. Он просто... ждёт.

Он подошёл к маленькому зеркальцу, висевшему на гвозде. Зеркальце было мутным, в крапинках, но он видел своё лицо. Серое, как утро за окном. Глубокие морщины у глаз, седина в русой бороде — ему было около пятидесяти, но выглядел он на все шестьдесят — седина в бороде, глубокие морщины, тяжёлые веки. Глаза — те самые, которые пугали работодателей. В них была тоска, смешанная с горечью, и ещё что-то, что он сам не мог назвать. Но он знал, что это было. Это была обида. Огромная, молчаливая обида на весь мир, которая копилась годами и уже не помещалась внутри,

искала выхода, но выхода не было.

— Пойду, прогуляюсь, — сказал он вслух, самому себе.
— Авось утренняя свежесть развеет хандру.

Слова прозвучали фальшиво. Он сам не верил в то, что говорил. Но надо было что-то сказать. Хотя бы для того, чтобы слышать человеческий голос.

Он вышел на улицу.

Утро было серым, холодным, несмотря на июнь. Небо набрякло тучами, но дождя не было — только давило. Сырой ветер дул с реки, и от него пробирала дрожь, даже в пиджаке. Город просыпался с хрипом: где-то лязгнула телега, заорал петух, из соседнего дома донёсся кашель — сухой, надсадный, как будто сам воздух болел чахоткой. Лавочники открывали ставни — дерево скрипело, как больные суставы. Городовой, толстый, красномордый, лениво переходил мостовую, посасывая трубку; он посмотрел на Корякина, но не узнал — или сделал вид, что не узнал. Где-то залаяла собака — надрывно, зло, как будто ей тоже было плохо.

Люди шли по своим делам — серые, озабоченные, погружённые в свои невесёлые мысли. Купец в картузе, с сумкой через плечо, торопился к своей лавке; женщина с корзиной,

полной зелени, кричала на мальчишку, который не поспевал за ней; старик в рваном тулупе сидел на завалинке и смотрел в одну точку. Все они были заняты своей жизнью, и никому не было дела до него, Корякина. Он мог бы исчезнуть — испариться, провалиться сквозь землю — и никто бы не заметил. Никто бы даже не спросил: «А где Виктор Иванович? Что-то давно его не видно».

Он двинулся за ними, сам не зная куда. Ноги сами несли его по знакомым улицам — по той самой дороге, которой он ходил каждый день в поисках работы. Мимо булочной, где пахло свежим хлебом, и он почти физически чувствовал голод, хотя завтрак был всего час назад. Мимо лавки скобяных товаров, где на витрине блестели новые топоры и грабли — такие вещи, которые ему были не нужны, потому что у него не было ни дома, ни земли, ни даже сада. Мимо кабака, который был закрыт до вечера, но уже сейчас оттуда тянуло кислым пивом и горелым луком.

Ноги привели его на главную улицу. Там он увидел знакомую вывеску: «Адвокатская контора». Она висела на доме, где когда-то жил его старый знакомый — тот давно уехал, но контора осталась. Вывеска была большой, красной, с золотыми буквами, и выглядела такой солидной, такой настоящей, что он остановился и смотрел на неё, как смотрит путник на закрытые ворота.

Он вспомнил, как год назад уже подходил к этим дверям. Тогда ему нужен был совет — он хотел подать жалобу на купца, который обсчитал его на три рубля. Три рубля — смешные деньги, но для него это была неделя жизни. Адвокат, маслянистый господин с глазами навывкате, выслушал его, улыбнулся и сказал: «Дело стоящее, но надо заплатить. Десять рублей авансом, и ещё двадцать по завершении». Корякин тогда ничего не ответил. Просто встал и вышел. И с тех пор нёс эту обиду в себе, как носил все остальные.

Отчаяние, горечь, бессильный гнев — всё смешалось в его душе. Вспомнилась Анна, которая умирала на его руках и шептала: «Не сдавайся, Витя. Борись». Вспомнился Серёжа — сын, который вырос чужим, которого он не видел уже семь лет. Вспомнился тот декабрьский вечер, когда он стоял у окна и был счастлив, не зная, что это в последний раз.

И он шагнул к двери.

Он сам не заметил, как ноги занесли его внутрь. Наверное, потому что больше некуда было идти. Наверное, потому что внутри что-то сломалось — та самая плотина, которую он строил девять лет, день за днём, не давая себе расслабиться, не давая себе кричать, не давая себе плакать. И сейчас она рухнула. Просто потому, что он увидел эту вывеску. Крас-

ную, золотую, торжествующую.

Дверь конторы была тяжёлой, дубовой, с медной ручкой. Он толкнул её, и она открылась с мягким, маслянистым скрипом. Внутри пахло деревом, воском и деньгами — он не знал, как пахнут деньги, но сейчас он почувствовал их запах. Это был запах уверенности. Запах того, чего у него никогда не было и не будет.

В конторе было пять человек.

Пять адвокатов.

Пять пар глаз уставились на него.

Они сидели за длинным столом, покрытым зелёным сукном, и все смотрели на него с разной степенью любопытства. Один — маслянистый, с глазами навывкате, тот самый, который говорил про десять рублей, — сразу узнал его. Другой — пухлый, похожий на объевшегося кота, лениво жевал булку и даже не отложил её. Третий — тощий субъект с постным лицом и бакенбардами, которые как будто приклеили к скулам, — что-то писал пером и не поднял головы. Четвёртый — молодой человек в круглых очках, почти мальчик, с ромашкой в петлице, — смотрел с любопытством и даже с участием. Пятый — старик с седой бородой и красными,

воспалёнными веками, — дремал в углу и, кажется, ничего не слышал.

— Что вас привело к нам, уважаемый? — пропел центральный, маслянистый господин. Голос у него был сладким, как патока, и скользким, как рыба. Он скрестил руки на животе и улыбнулся — той улыбкой, которая обещает всё и ничего.

Виктор Иванович набрал воздуха. Грудь его поднялась, и он вдруг почувствовал, как внутри закипает что-то огромное, тёмное, горячее. Все девять лет, все обиды, все унижения, все отказы, вся горечь, весь стыд, всё отчаяние — всё это собралось в комок и рвалось наружу. Он открыл рот, и крик вырвался сам собой, как вода из прорванной плотины:

— Я хочу подать на них в суд!

Голос его прозвучал так громко, что стёкла в шкафу задребезжали. Стеклянная дверца, которая держалась на одной петле, качнулась и звякнула. Пухлый адвокат поперхнулся булкой и закашлялся. Тощий поднял голову и уставился на него с изумлением. Старик открыл один глаз, посмотрел на Корякина и снова закрыл.

Маслянистый не дрогнул.

— На кого? — приподнял он бровь.

Вопрос был простым, но в нём была ловушка. Виктор Иванович это чувствовал, но уже не мог остановиться. Слова лились сами собой, как будто кто-то другой говорил его голосом:

— На всех! На всех этих безразличных мерзавцев! Кругом одни мерзавцы, жулики, мошенники и крохоборы! На тех, кто обсчитывает! Кто увольняет! Кто не берёт на работу! Кто смотрит на тебя так, как будто ты — дерьмо под ногами! На весь этот город, на всю эту губернию, на всю эту страну! На всех! Все они — мерзавцы! Все до единого!

Он замолчал, тяжело дыша. В груди колотилось сердце, в ушах шумела кровь. Он стоял посреди конторы, потный, красный, в дырявом сапоге, в потёртом пиджаке, и чувствовал себя обнажённым. Пять пар глаз смотрели на него — пять адвокатов, которые привыкли к тому, что люди приходят к ним с такими же криками, но потом уходят, остывают, сдаются. Он ждал, что они рассмеются. Или выгонят. Или скажут: «Успокойтесь, сударь, выпейте водички».

Но они не рассмеялись. Адвокаты переглянулись. Ни тени сочувствия — лишь лёгкий деловой интерес. Как у мяс-

ника, который смотрит на тушу и прикидывает, сколько из неё выйдет мяса.

— Конкретнее? — спросил второй, пухлый, похожий на объевшегося кота. Он вытер крошки с губ и положил руки на стол. — Кто именно? Фамилии, адреса, род занятий. Без этого мы не можем составить иск.

Виктор Иванович осёкся.

Он и сам не знал, кого именно. Гнев его был огромен, но безымянен. Это была лава без кратера. Он мог назвать сотню имён — лавочника, сапожника, бывшего начальника, того купца, который его обсчитал, того ревизора, который выгнал со станции. Но он знал: это не они. Вернее, не только они. Потому что за каждым именем стояла ещё сотня, а за каждой сотней — ещё тысяча. И все они были одинаковыми: серые, безразличные, уверенные в своей безнаказанности. И все они были везде. В каждой конторе. В каждом кабинете. В каждой канцелярии. Даже здесь, в этом кабинете, за этим зелёным сукном.

— Я не знаю! — выпалил он с отчаянием. — Они все мерзавцы! Как мне их разобрать?

— Так не пойдёт-с, — сухо произнёс третий, тощий субъ-

ект с постным лицом и бакенбардами. Он отложил перо и посмотрел на Корякина с выражением, которое можно было принять за сочувствие, если бы глаза его не были холодными, как лёд. — Нам бы точные личности. Фамилии, адреса, род занятий. Закон, знаете ли, требует определённости. Нельзя подать в суд на «всех» — это юридический нонсенс.

— Мы готовы встать на вашу защиту, — замурлыкал второй, пухлый. — Дело, судя по вашим эмоциям, обещает быть громким. Но, как уже сказал мой коллега, нам нужна конкретика. Десять рублей авансом и ещё двадцать по завершении. Пятьдесят, если дело дойдёт до Сената. Мы, разумеется, сделаем всё возможное, чтобы оправдать ваше доверие.

Десять рублей!

У него не было даже двух! Он и три-то копейки едва нашёл бы, если обыскать все карманы.

Виктор Иванович побледнел, потом покраснел. Кровь прилила к лицу, и он почувствовал, как уши горят, как на лбу выступает пот. Мерзавцев, оказывается, куда больше, чем он думал. Они повсюду. Они и здесь, за этим столом. Они сидят в дорогих сюртуках, едят булки, пьют чай из фарфоровых чашек, и смотрят на него, как на пустое место. И они даже не скрывают своего презрения — потому что знают: он нищий.

Он никто. Он даже десять рублей не может заплатить.

Он уже открыл рот, чтобы разразиться тирадой — он чувствовал, как слова копятя внутри, готовые выплеснуться, как лава. Но тут случилось неожиданное.

— А я согласен защищать вас бесплатно! — громко выкрикнул четвёртый, молодой человек в круглых очках.

Голос его был звонким, молодым, почти мальчишеским, и он прозвучал так неожиданно, что все повернули головы в его сторону.

Он встал из-за стола — худой, нескладный, с торчащими из-за ушей волосами, с ромашкой в петлице, которая выглядела смешно рядом с дорогими галстуками коллег. Очки его были круглыми, в металлической оправе, и когда он встал, они съехали набок, и он поправил их привычным жестом — тыльной стороной ладони.

— Мы обратимся в суд с иском! — продолжал он, повышая голос. — Да, формулировка неконкретна, но это поправимо! Мы можем начать с одного обвинения, а потом расширять дело по мере поступления доказательств! Главное — начать!

Виктор Иванович опешил.

Он перевёл взгляд на говорившего. Юноша, почти мальчиш, с наивным видом, в дешёвом, но опрятном костюме — сукно было недорогим, но чистым, воротничок свежим, ботинки начищенными. В петлице торчала ромашка — обыкновенная полевая ромашка, которую он, должно быть, сорвал по дороге на работу. И глаза его — они горели. Не как у маслянистого — холодным, расчётливым огнём. А как у человека, который верит. Который действительно верит в то, что говорит.

— Меня? Бесплатно? — переспросил Корякин, чувствуя, как внутри что-то дрогнуло. Как будто в темноте зажглась свеча. Маленькая, слабая, но настоящая.

— Да, — решительно кивнул юноша, снова поправляя очки. — Я берусь за ваше дело безвозмездно. Мы всех их выведем на чистую воду. Всех до единого. Я обещаю вам.

— Но позвольте, коллега, — начал маслянистый, и голос его потерял сладость. — Это нарушает все правила нашей практики. Мы не можем просто так браться за дело без гонора. Это, простите, непрофессионально.

— Я так решил! — отрезал юный адвокат. И в голосе его

послышалась такая твёрдость, что маслянистый замолчал, только дёрнул бровью.

Он снял очки и протёр их тыльной стороной ладони — этим жестом он, видимо, привык делать паузу, когда хотел собраться с мыслями. И в эту минуту он вдруг вспомнил отца.

— Мой отец, — сказал он тихо, так, чтобы слышал только Корякин, — был мелким подрядчиком. Он проиграл суд богатому купцу. Защитника у отца не было: адвокаты требовали денег, которых у нас не было. Он умер через год после того процесса. Сердце не выдержало.

Он помолчал, и в глазах его блеснула влага.

— Я тогда поклялся, что если у меня будет возможность, я никогда не откажу бедному человеку в защите. Даже если это будет стоить мне карьеры. Даже если надо мной будут смеяться. Вы не ищите денег, Виктор Иванович. Вы ищите правду. И я с вами.

Он протянул руку.

Корякин смотрел на неё — молодую, чистую, с коротко стриженными ногтями. И не знал, что делать. Он привык,

что мир смотрит на него сверху вниз. Он привык, что люди отворачиваются, обманывают, обещают и забывают. Он привык, что правда — это то, что продаётся за деньги, которых у него нет.

А этот мальчишка... он был другим. Настоящим. Наивным. Но настоящим.

Виктор Иванович протянул свою руку — старую, потёртую, с обломанными ногтями, с мозолями от сапожной иглы и газетной бумаги. И пожал её.

— Спасибо, — сказал он. Голос его дрогнул. — Спасибо, молодой человек. Я... я не знаю, что сказать.

— Ничего не говорите, — улыбнулся юный адвокат. — Просто будьте завтра в суде. Я принесу иск. Мы начнём. Остальное — моя забота.

Он сунул руку в карман, вытащил визитку и протянул Корякину. На визитке было написано: «Аркадий Петрович Светлов, адвокат».

Корякин повертел визитку в руках. Бумага была дешёвой, буквы выцвели, но имя было настоящим. И адрес был настоящим. И глаза, которые смотрели на него, были настоящими.

— Завтра, — повторил он. — Я приду.

Он вышел на улицу и зажмурился. Солнце, наконец, пробилось сквозь тучи, и свет был ярким, почти ослепительным. Жизнь, которая ещё час назад казалась ему тёмным колодецем, озарилась каким-то странным, непонятным светом. Он не знал, что это было — надежда или безумие. Но он чувствовал, как внутри, в той самой темноте, где гнездилась годами обида, что-то сдвинулось. Как будто огромный камень, который он носил на груди, вдруг стал легче.

Он сделал несколько шагов по мостовой, потом остановился и посмотрел на свои руки. Они дрожали. Но дрожали не от страха. А от чего-то другого. От того, чего он не чувствовал уже много лет.

Он не знал, что всего через неделю в городе случится переполох. Что вывеску на здании суда напишут с ошибкой, что эта ошибка запустит целую цепь событий, и что он, Виктор Иванович Корякин, станет главным истцом по делу, которое назовут «Процессом века».

Он не знал ничего.

Но впервые за много лет он чувствовал, что идёт в пра-

вильном направлении.

ГЛАВА 2. Трактир «Весёлый ямщик»

Трактир «Весёлый ямщик» на Никольской улице гудел с утра, как растревоженный улей. Здание было низким, бревенчатым, с покосившейся вывеской, на которой когда-то был изображён ямщик с кнутом, но краски облупились, и теперь можно было разглядеть только его руку, занесённую над лошадьё, да колесо, наполовину съеденное временем. Дверь была тяжёлой, обитой железом, и когда её открывали, она издавала протяжный, скрипучий стон, похожий на жалобу старого человека.

Внутри пахло кислой капустой, дешёвым табаком, сырыми сапогами и жареным луком — запах был густым, осязаемым, как туман. Он смешивался с паром от щей, которые варились в огромном котле на кухне, и с запахом перегара, который исходил от постоянных посетителей. Пол был дощатым, тёмным, с глубокими щелями, куда проливался чай и пиво, и оттуда шёл кисловатый, дрожжевой дух. Под потолком висела керосиновая лампа с закопчённым стеклом, которая давала жёлтый, маслянистый свет, заставляя лица выглядеть болезненно-бледными.

Здесь собирались извозчики, мелкие торговцы, приказчики, мастеровые и просто люди, которым некуда было спешить. Они сидели за длинными столами, пили чай из гранёных стаканов в подстаканниках, ели калачи с солью, спорили, смеялись, кашляли, плевались. Официанта не было — трактирщик сам разносил заказы, вытирая руки о передник, и перекрикивался с гостями, не повышая голоса, но так, что его слышали в каждом углу.

За дальним столиком, у самого окна, сидел молодой извозчик Никифор. Ему было двадцать три года, лицо его, обветренное и скуластое, выражало вечную усталость, но глаза смотрели живо и цепко. Он был одет в серый армяк, подпоясанный кушаком, и картуз, который он держал в руках, мял пальцами, нервничая. Рядом с ним сидела его невеста Акулина — худенькая, с ясными голубыми глазами, с руками, которые никогда не знали покоя. Они сидели на лавке, плечом к плечу, и не касались друг друга — в трактире не принято было показывать нежность, но он смотрел на неё так, что всем было понятно.

Акулина была одета в ситцевое платье с белым воротничком, чистое, но выцветшее от частых стирок, и платок на голове, завязанный узелком. Она пила чай маленькими глотками, и стакан в её руках дрожал от напряжения.

Никифор сидел напротив, положив руки на колени, и слушал разговоры вокруг. Он не пил — он вообще редко пил, потому что знал цену каждой копейке.

— Ну, что нового? — спросил он у трактирщика, подзывая его жестом. Трактирщик, толстый и красномордый, с окладистой бородой, вытер руки о передник и подошёл к их столику, не торопясь.

— А ты не слышал? — сказал он, наклонившись и понизив голос до таинственного шёпота. — У нас теперь не суд, а сут. Вывеску испортили.

Акулина подняла глаза, в них мелькнуло любопытство.

— Сут? — переспросила она. — Это как?

— А вот так, — трактирщик развёл руками. — Рабочий Герасим букву «д» не дописал. Теперь висит «Городской сут». И никто переделывать не велит — генерал-губернатор приехал, некогда. Так и осталось. Говорят, звучит даже лучше. По-иностранному. «Сут» — это, может, по-французски что-то значит.

— По-французски? — усмехнулся Никифор. — Ну и ду-

раки наши начальники. Даже букву правильно написать не могут. А если по-французски, то, может, и к лучшему. Звучит солидно.

— Не в букве дело, — вдруг сказал кто-то из угла.

Голос был старческим, хриплым, с дребезжанием, как у сломанного колокольчика. Все обернулись. Там, в самом тёмном углу, за отдельным столиком, сидел старик в рваном тулупе. Он был маленьким, ссохшимся, с редкой седой бородой и водянистыми глазами, которые смотрели на мир из-под густых кустистых бровей. Его редко кто замечал — он сидел всегда в одном углу, пил воду из кружки, и никто не знал, кто он и откуда. Но сегодня он решил заговорить.

— Не в букве дело, — повторил он, и голос его окреп. — А в том, что теперь у нас есть человек, который против всех пошёл.

— Кто? — спросил Никифор, подавшись вперёд.

— Корякин. Виктор Иванович. Слышали?

— Слышали, — кивнул трактирщик. — Говорят, он в адвокатскую контору ворвался и закричал: «Все мерзавцы!». Я сам слышал от Марфы Ильиничны, у которой он комнату

снимает. Она рассказывала — он, говорит, ночами не спит, ходит, думает. Кричит иногда во сне: «Справедливости!». Она боится, что он с ума сойдёт.

— И что с того? — пожал плечами Никифор. — Мало ли кто кричит. Я тоже могу закричать.

— А ты крикни, — усмехнулся старик, и усмешка его была беззубой, почти беззвучной, как шорох. — И посмотрим, что будет. А он крикнул — и его услышали. Адвокат, говорят, согласился его защищать. Бесплатно. Представляете? Бесплатно! Молодой, с круглыми очками. Глаза горят, как у святого. Или как у безумца — кому как.

— Быть того не может, — сказала Акулина, качая головой. — Бесплатно никто не работает. Это сказки.

— А он работает, — старик качнул головой. — Я сам видел его. Худой, длинный, в дешёвом сюртуке. Ромашка в петлице. Настоящая, полевая. Он прямо из конторы вышел, когда Корякин там был. И засмеялся. Я слышал его смех. Так смеются только люди, которые верят.

Никифор задумался. Он опустил глаза, уставился в стол, на котором были разводы от чая и крошки от калачей. Он вспомнил свой случай — тот, что произошёл два года назад.

Он тогда был молодым и горячим, пошёл жаловаться на хозяина, который не платил жалованья. Хозяин обсчитал его на сорок рублей — все его трудовые, кровные. Он пришёл в управу, стоял перед чиновником, доказывал, показывал расписки, а тот смотрел на него, как на пустое место, и сказал: «Мал ты ещё, голубчик, судиться. Иди работай. И не выдумывай».

Его высмеяли. Выгнали. Сказали, что если он ещё раз придёт, его в полицию отправят. С тех пор он не ходил никуда. Молчал. Терпел. Копил обиду.

— А что, — сказал он вдруг, поднимая глаза, — пусть попробует. Авось выйдет что. Мы все от этого только выиграем. Хоть кто-то заговорит.

— Типун тебе на язык, — замахал руками трактирщик, отступая на шаг, как будто слова Никифора были заразными. — Не ровен час, и до нас доберутся. Найдут мерзавцев, и мы все под суд пойдём.

— А ты чего боишься? — спросил Никифор, глядя на него в упор. — Если ты не мерзавец — тебе бояться нечего.

Трактирщик побагровел, открыл рот, чтобы ответить, но старик перебил его. Голос его был тихим, но в нём звенела

сталь:

— А если ты мерзавец, то тебе есть чего бояться. Так, хозяин?

Трактирщик побагровел ещё больше, сжал кулаки, шагнул было в сторону старика, но остановился, что-то пробормотал, отвернулся и ушёл за стойку. Он громко звякнул посудой, загремел стаканами, но никто не смотрел на него.

Никифор посмотрел на Акулину. Она смотрела на него — в глазах её была тревога. Она боялась за него. Боялась, что он, как тогда, всколыхнётся, пойдёт, и его снова раздавят.

— Этот Корякин, — сказала она тихо, беря его за руку под столом, — он, говорят, из простых. Совсем бедный. Сапог дырявый. Марфа Ильинична говорила — у него даже на обед не всегда хватает. Но он всё равно идёт. Не сдаётся.

— Сапог дырявый, — повторил Никифор, и в голосе его послышалось что-то новое — не усталость, а зарождающаяся надежда. — У меня тоже когда-то был дырявый. Я в нём у хозяина жалованья просил. Он посмотрел на мой сапог и сказал: «В таких сапогах в суд не ходят. Иди чини». А я не починил. Я думал — и так сойдёт. Не сошло.

Акулина сжала его руку.

— Никифор, не лезь в это дело, — прошептала она. — Оно опасное. Дай богатым людям разбираться между собой. А мы — мы маленькие люди. Нас не видно. И это хорошо. Нас не тронут.

Никифор хотел возразить, но не стал. Он только вздохнул и сказал:

— Может, ты и права. Может, и правда — не наше это дело.

Но про себя он подумал: «Если Корякин — маленький человек, а его увидели — значит, и нас могут увидеть. Если он смог — значит, и мы сможем. Просто надо верить. И не бояться».

Он поставил локти на стол, опустил голову, закрыл глаза. Акулина положила руку ему на плечо. Они сидели молча, слушая гул трактира.

А в углу старик в рваном тулупе улыбнулся беззубым ртом, поднял кружку с водой, как будто произносил тост, и прошептал тихо, почти беззвучно, но так, что Никифор услышал:

— Перевернётся, милый. Перевернётся. Всё уже перевернулось. Мы просто не знаем об этом.

Никифор открыл глаза, посмотрел на старика. Тот кивнул ему, едва заметно, и отвернулся к окну.

Солнце пробилось сквозь закопчённое стекло, и луч упал на стол, разбиваясь о стакан с чаем на золотые искры.

Никифор вдруг почувствовал, что внутри него что-то сдвинулось. Как будто огромная тяжесть, которую он носил годами, стала чуть легче. Он не знал, что это было — надежда или безумие. Но он знал, что уже никогда не будет прежним.

Он взял свою кружку, отпил остывший чай и сказал:

— Пошли, Акулина. Надо работать. Лошади ждут.

Он встал, подал ей руку. Она взяла её, и они вышли из трактира, не оглядываясь.

А старик остался в углу и смотрел им вслед. И улыбался.

ГЛАВА 3. Вывеска, перевернувшая всё

Через неделю в городе случился переполох. Ожидался приезд генерал-губернатора. Начальство суеилось, бегало, издавало противоречивые приказы.

Кто-то из городской управы, желая выслужиться, отдал срочное распоряжение: обновить обветшавшую вывеску на здании суда. Исполнить поручили рабочему Герасиму — мужику старательному, но грамоте не обученному. Ему выдали образец, написанный писарскими каракулями, и велели: «Срисуй как можешь, да побыстрее».

Герасим честно, высунув язык от усердия, водил кистью, выводя буквы так, как запомнил. К вечеру табличка была готова. Золотом по чёрному на ней значилось:

ГОРОДСКОЙ СУТ.

Ошибку заметили не сразу. А когда заметили — переделывать было поздно. Генерал-губернатор уже въезжал в город.

Так и осталось. Никто не посмел указать на промах, боясь гнева начальства. Да и звучало оно внушительно, как-то по-

иностранному. «Сут» — загадочно, солидно. Даже лучше, чем просто «суд».

Виктор Иванович увидел вывеску утром, когда шёл в контору за новостями. Он остановился, задрал голову и прочитал:

— Городской сут.

И рассмеялся — впервые за много дней. Смех был нервным, истеричным, но настоящим.

— Ну и город, — сказал он прохожему. — Даже суд у нас не суд, а сут.

Прохожий не понял, пожал плечами и пошёл дальше.

А Виктор Иванович стоял и смотрел на вывеску, чувствуя, что абсурд происходящего придаёт ему сил.

— Если уж сам бог — или, вернее, рабочий Герасим — благословляет наше дело, — пробормотал он, — то нам сам чёрт не брат.

И он вошёл в здание с лёгким сердцем.

ИЗ «ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

28 июня. На здании городского суда установлена новая вывеска. По недосмотру рабочего Герасима Сидорова вместо «Городской суд» выведено «Городской сут». Исправление отложено до распоряжения начальства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.